

DOI: 10.31860/0131-6095-2023-2-271-277

© Е. Е. Дмитриева

РУССКО-НЕМЕЦКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ К. М. АЗАДОВСКОГО*

В минувшем 2022 году немецкое издательство «Brill Fink» выпустило в свет книгу К. М. Азадовского «Russisch-deutsche Verflechtungen», название которой отчасти восходит к подзаголовку ранее вышедшего сборника его избранных работ «Сюжеты и судьбы. Немецко-русские отражения».¹ Но, признаемся, в чем-то даже более отвечает содержанию труда, в котором, действительно, речь идет не столько об отражениях, сколько именно о русско-немецких переплетениях (*Verflechtungen*) — пересечениях судеб человеческих и писательских, творчества, наконец, идеологии. Издание, имеющее неметафорический подзаголовок «Избранные труды по истории литературы и культуры XIX и XX веков», подготовлено стараниями двух российско-немецких филологов Наталии Бакши и Федора Полякова.

В основу книги легло русское издание «Сюжетов и судеб»: большая часть вошедших в него статей, в разные годы опубликованных, переведено на немецкий язык и впервые вошло в научный оборот немецкоязычных германистов. Но при этом добавились и три статьи, первая публикация которых состоялась в Германии и которые, увы, до сих пор остаются практически неизвестны русскоязычному читателю («Запрет на профессию „космополит“. Виктор Жирмунский в 1948–1949 годах», «„Страна гениев“ — Германия глазами Андрея Белого» и «Истории и тайны Старого Энтузиаста. Аким Волынский — Лу Андреас-Саломе — Райнер Мария Рильке»).

При том, что внешне книга выглядит как род научной антологии (антологии трудов ученого) и даже, казалось бы, лишена хронологической логики (сюжеты новейшего времени предшествуют в ней подчас более давним), на самом деле она имеет строго продуманную архитектуру, целям которой подспудно и служит неумичивый хронотоп. Открывается книга статьями «„Иногда становится невыносимо...“. Письма блокадной зимы»,² которую и статьями называть как-то совестно, поскольку

по жанру это — одновременно и публикуемый пронзительный эпистолярный блокадного времени М. К. Азадовского, и собственные воспоминания и размышления его сына.

«Эпопея ленинградской блокады складывается из множества личных историй. Свою блокадную историю, длившуюся шесть месяцев, имеет и наша семья» (S. 1; здесь и далее перевод мой. — Е. Д.). Так начинается публикация извлеченных из семейного архива писем — хроника жизни и хроника смерти, где в страшном в своей обыденности мартирологе проходят имена известные (Вл. Ф. Шишмарев, Л. В. Щерба, В. М. Жирмунский, К. В. Чистов и др.) и имена ныне уже неизвестные, которые только начинали, но не успели сказать свое слово в жизни и науке. В первом письме М. К. Азадовского к жене, датированном 9 сентября 1941 года, еще звучит спокойно-стойкая интонация, которую, по рассказу сына, он и в дальнейшем старался сохранять. «Послушайте, madame! Чего же Вы ждете: и Седан был, и Бородино было, — а сегодня ночью и Ленинград получил первое настоящее боевое крещение» (S. 2).

Поразительны эти строки, и каким-то важным откровением звучат они и сейчас. Словно стоит нам вписать войну в историю войн, которые испокон веков вело человечество, как все предстает не таким уж и страшным. «Государства ведут войны, но войны создают государства», — сказал совсем недавно по телевидению один историк. И только если оставить в стороне разговор о философии истории, ее метафизике и проч., и посмотреть, что происходит с конкретным человеком, когда он попадает во вполне конкретное кровавое месиво, то именно тогда становится страшно. *История домашним образом*, сказал однажды Пушкин о романах Вальтера Скотта. Историей домашним образом звучат и эти блокадные письма.

Все здесь «амбивалентно». Радость появления на свет ребенка сопряжена с ужасом родителей: как сохранить его в условиях, когда не выдерживают и взрослые. Но с другой стороны, на ребенка дается дополнительная карточка, и это уже отчасти спасительно. «Чудесная золотая осень, которая редко бывает в Ленинграде» и которую ленинградцы «так любили прежде» (S. 9), как пишет в одном из писем М. К. Азадовский, кажется словно сошедшим с гравюры Дюрера черным солнцем Апокалипсиса. «А теперь каждое утро, отворяя окно, мы с ужасом и досадой смотрим на заливающее комнату солнце» (S. 9).

* *Asadowski Konstantin*. Russisch-deutsche Verflechtungen. Ausgewählte Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts / Hrsg. von Fedor Poljakov und Natalia Bakshi. [Paderborn:] Brill Fink, 2022. 389 S.

¹ Азадовский К. Сюжеты и судьбы. Немецко-русские отражения. М., 2019 (сер. «ROSSICA. Россия и Запад. Литературные связи и контакты»; вып. 2).

² Впервые опубли.: Звезда. 2020. № 1. С. 152–176.

Ночные дежурства в Пушкинском Доме, разбор рухнувших от обстрела домов, — а на этом фоне читаются стихи, пишется главы второго тома «Истории русской фольклористики», которая будет вскоре выдвинута на Сталинскую премию. «Есть упоение в бою / И бездны страшной на краю», — сказал поэт. Возможно, это объясняет и атмосферу следующих строк из письма М. К. Азадовского, который, как человек литературы, не мог не воспринимать все происходящее также и бытийно (дабы обойтись без пафосного «экзистенциально»), Н. К. Гудзию: «В этом была своя поэзия. Страшная и жуткая, но поэзия. Ночь. В углу в ватном мешке спит наш малютка; под грудой одеял тяжело дремлет Лидия Владимировна. А я в это время то развожу буржуйку, на которой сам готовлю всем ужин, и в промежутках дописываю какие-нибудь лакуны» (S. 24).

Казалось бы, что может быть страшнее тревог и тягот блокадного времени, смерти, распада личности когда-то светлых и дорогих людей, но к ним присоединяется «еще одно» бедствие, которое никакая человеческая логика не позволила бы предположить, — «арест ближайших друзей и коллег»: арестован В. М. Жирмунский; вслед за ним — Г. А. Гуковский. Оба проводят в следственном изоляторе НКВД около месяца (и это — в самом горниле «блокадного ада»).

И еще одно «казалось бы». 20 марта 1942 года для семьи Азадовских — время исхода: с женой и сыном М. К. Азадовский эвакуирован спецсамолетом вместе с Томашевскими из блокадного Ленинграда. Впереди три года эвакуации в Иркутске и возвращение в Ленинград — «в ту же квартиру на ул. Герцена» (S. 30). Марк Константинович продолжит свою преподавательскую работу в Университете и научную в Пушкинском Доме. После войны он будет награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Но только не happy end'ом завершается этот первый раздел книги К. М. Азадовского. Заканчивается он на печальной, а в сущности трагической ноте: коротком сообщении о том, что было *после*: «Этот последний период его жизни отмечен гонениями, публичными оскорблениями и грязной клеветой, достигшими апогея в 1949 году — в разгар идеологической и антиинтеллигентской (по сути, антисемитской) кампании против „космополитов“. Среди обличительных формулировок, что произносились тогда на собраниях и в печати, чаще других повторялись обвинения в „антипатриотизме“ и „антисоветизме“. О научном, гражданском и человеческом облике ученого-блокадника, столь отчетливо проявившемся в зиму 1941–1942 года, никто в те годы не вспомнил. Да и позднейшие историки ленинградской блокады (за исключением Сергея Ярова) как будто забыли о Марке Азадовском — очевидце блокадной трагедии и участнике обороны города» (S. 31).

Тему того, что было «после», продолжает следующая статья, а по сути, глава книги: «Запрет на профессию „космополит“. Виктор Жирмунский в 1948–1949 годах», в основу которой легли материалы, уже ранее собранные и опубликованные К. М. Азадовским совместно с Б. Ф. Егоровым.³ Из профессоров, подвергнувшихся в 1948–1949 годах гонениям, В. М. Жирмунского можно было бы назвать одним из самых благополучных. НКВД его трижды арестовывало, но довольно быстро отпускало. Он не умер, как Г. А. Гуковский, от сердечного приступа в 1950 году в тюрьме Лефортово, не умер от сердечной недостаточности в 1954 году, как М. К. Азадовский, лишенный права преподавать в университете и уволенный из Академии, что означало для него также и невозможность продолжать свои исследования по фольклору. Он не пережил, как Б. М. Эйхенбаум, глубочайший кризис в 1949 году, очевидно ускоривший его смерть в 1959-м. Уволенный с должности заведующего кафедрой западноевропейских литератур Ленинградского университета, он все же продолжал работу в Институте языковедения под началом В. В. Виноградова, а в 1955 году возобновил преподавательскую деятельность в Герценовском институте (в конце данной главы К. М. Азадовский опубликовал также некоторые архивные материалы, хранящиеся у наследников В. М. Жирмунского и иллюстрирующие этапы его непростого пути: письма, постановления, заявления).

Но история Жирмунского по-своему особенно показательна как знак эпохи, когда понятие патриотизма, столь много значившее во время войны, постепенно становится инструментом подавления и репрессии, когда в праве на патриотизм отказывается тому, кто не «русский» — и скоро это перерастает в откровенный антисемитизм. «Фашизм, потерпевший сокрушительное поражение на полях сражений, — пишет К. М. Азадовский, — победил теперь в идеологической сфере. Этот „патриотический“ пафос и клевета на все иностранное достигли своего апогея в июне 1947 г., когда в гуманитарных науках, в частности в литературоведении — началась новая шумная кампания травли, начало которой было положено так называемой „дискуссией о Веселовском“» (S. 35). Постановление относительно журналов «Звезда» и «Ленинград», выступление Александра Фадеева на XI пленуме Союза писателей в июне 1947 года, разносная критика им монографии В. Ф. Шишмарева «Александр Веселовский и русская литература» (Л., 1946), дискуссия, развернувшаяся на страницах журнала «Октябрь», поначалу достаточно неоднзначная (Шишмарев, в частности, выступил в ней в защиту своего учителя), но закончив-

³ См.: Азадовский К., Егоров Б. «Космополиты» // Новое литературное обозрение. 1999. № 36; см. также: Дружинин П. Идеология и филология. Документальное исследование: В 3 т. М., 2012–2016.

шаяся позорной статьей В. Кирпотина⁴ с обвинениями одновременно в адрес и Веселовского, и Жирмунского — вот только некоторые из прослеженных в данном разделе книги этапов того смертного дефиле, карнавала зловещих масок, апогеем которого стало расширенное заседание Совета филологического факультета в апреле 1948 года, где Жирмунский был обвинен также и в неуважении к национальной самобытности узбекского народа в своем труде «Узбекский народный героический эпос».

Спектакль, в котором непогрешимые «праведники» выступали против кающихся и отказывающихся каяться «грешников». И не нам судить тех, кого под себя подмяла государственная машина. Об этом тоже пишет К. М. Азадовский: «Следует сказать, что многие из обвинителей в какой-то степени сами стали жертвами: жертвами страха, запугивания и принуждения» (S. 43). А то, как тонкий и умный писатель Федор Абрамов, тогда еще аспирант, мог с таким пафосом выступать против Жирмунского, возможно, останется навсегда загадкой человеческой психики и человеческой природы.

Наверное, не случайно за историей Жирмунского, которая есть история русской филологической науки и русской жизни, следует глава о Блоке и Грильпарцере, перемещающая нас в эпоху, иную по времени, но отнюдь не по основному поставленному здесь вопросу. О драме Франца Грильпарцера «Праматерь» автор пишет: «Естественная для человека воля к жизни и одновременно невозможность свободного волеизъявления — таков трагический конфликт этой драмы. В мире, как представлялось Грильпарцеру, царит некое необходимое начало, определяющее человеческие поступки. Человек — несвободен. Тем не менее, утверждая зависимость человека от высших сил («рока»), Грильпарцер, наследник просветительской эпохи, глубоко страдает ему и стремится подчеркнуть неестественность такого положения» (S. 56–57).

Первая в России серьезная попытка осмыслить наследие Грильпарцера, предпринятая Александром Блоком, которому принадлежит и полный перевод драмы «Die Ahnfrau», сделанный им для театра В. Ф. Коммиссаржевской, аукнется и в собственном творчестве Блока. Работая над переводом в «переломный период российской истории», он сам мучительно размышляет «о человеческой личности в ее взаимоотношениях с эпохой — о Судьбе, тяготеющей над людьми» (S. 75). А начиная с середины 1907 года обдумывает собственную пьесу, точнее, драматическую поэму — «Песню Судьбы». Ситуация меттерниковской Австрии (а именно в это время Грильпарцер работал над своей драмой) накладывается в сознании Блока на «ту грозную атмосферу», полную «без-

умной тревоги» и «сгущающегося мрака», что объединяет две эпохи. «...Все живое обессиливается мертвым», — пишет Блок. А свою статью «Литературные итоги 1907 года» начинает со слов: «Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо жизни, проснувшейся было, на долгие, быть может, годы. Перед нашими глазами — несколько поколений, отчаивающихся в своих лучших надеждах» (S. 78–79).

И разве это — не то же состояние и не те же чувства, что испытывали те, кто описан в книге К. М. Азадовского в двух предыдущих главах?

Следующий раздел, или статья, «Русские знакомства Шеллинга» имеет своим объектом эпоху и тему гораздо более спокойные — историю русского шеллингианства, но рассмотренную в ключе скорее позитивистском: не история идей, но описанные и прослеженные в деталях встречи Шеллинга, реальные и виртуальные, с его русскими современниками. Среди них — Д. М. Велланский, А. И. Тургенев, М. Ю. Вильгорский, Ф. И. Тютчев, И. В. Киреевский, И. С. Гагарин, М. П. Погодин, Н. А. Мельгунов, Н. П. Огарев, М. А. Бакунин и др.

Он был певцом «единой творимой жизни», создателем «живой философии», чья популярность в России чуть ли не превосходила его востребованность в Германии, кого, наряду с Наполеоном и Байроном, почитали главным представителем века, как сказал о Шеллинге А. В. Никитенко (но он же и добавил о всех троих: «Они скажут будущим поколениям его тайну и покажут им, как в наше время дух человеческий хотел торжествовать над роком и изнемогал в непосильной борьбе с ним» — S. 92).

Так опять подспудно возникает в книге тема борьбы с роком, воплощением которого на этот раз становятся, однако, не таинственные силы Грильпарцера, но М. Л. Магницкий, почитающий учение Шеллинга «богопротивным», сеющим «вольнодумство и разврат», под видом идеализма проповедующим «самый грубый материализм» (S. 92). Казалось бы, бог с ним, с Магницким. Но ведь и И. В. Киреевский, в юности так увлекавшийся Шеллингом, в своей поздней статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856), даже «отдавая должное кумиру своей юности», тем не менее высказает «неудовлетворенность его „ограниченным“ протестантским рационализмом, не сумевшим даже и в „Философии откровения“ найти божественную истину» (S. 118). Только Россия, утверждает Киреевский, способна в полной мере оценить и достоинства, и недостатки Шеллинговой системы, «ибо Россия может увлечься логическими системами иноземных философий, которые для нее еще новы; но для любознательности верующего она строже других земель Европы, имея высокие образцы духовного мышления в древних св. отцах и в великих духовных писаниях всех времен, не исключая и настоящего» (S. 118).

⁴ Кирпотин В. Я. О низкопоклонстве перед капиталистическим Западом, об Александре Веселовском, о его последователях и о самом главном // Октябрь. 1948. № 1. С. 6 и след.

Все было встарь, все повторится снова... Но сладок ли нам узнавание миг?

Начиная с главы 4 — и продолжено это будет в главе 5 «Русские в архиве Ницше» — К. М. Азадовский все более обращается к теме русско-немецких контактов: пересечения и странного сближения судеб. Перед читателем предстает облик веймарской виллы, на которой уже безумно больной Ницше провел свои последние годы. Затем она была превращена сестрой философа Э. Фёрстер-Ницше в Архив Ницше. Эта вилла на протяжении XX века познала и периоды взлета, и периоды падения. В ее судьбе отразилась германская история последних ста лет, среди прочего, она стала местом многочисленных примечательных встреч (бывают странные сближения!). Так, в 1903 году, т. е. уже после смерти философа, в салоне Э. Фёрстер-Ницше появляется граф Маврикий Эдуардович Прозор (1849–1928), образованный дипломат, назначенный в Веймар русским «министр-резидентом», переводчик на французский язык Ибсена и Мережковского. «...Вероятно, именно от него Фёрстер-Ницше, — читаем мы далее в книге, — узнала об одном из наиболее страстных в то время поклонников Ницше в России. Кроме того, через Прозора была получена и опубликована в России (еще не появившаяся по-немецки) „Критика высших ценностей“» (S. 125–126).⁵ Чуть позже в Веймаре появится «один из наиболее ревностных русских германофилов начала века» (S. 126) — Э. К. Метнер.

Но главными персонажами и предметом наиболее пристального интереса в этой главе становятся З. А. Венгерова, которая во второй половине 1890-х годов перевела на русский язык книгу о Ницше (ее письмо, обращенное к Фёрстер-Ницше, также публикуется в книге), и публицист, переводчик и поэт М. А. Суkenников. Один из немногих, кому удалось завязать с Элизабет Ницше более или менее длительные отношения, он оставил о своих встречах и разговорах с ней ряд печатных свидетельств,⁶ достоверность которых, однако, К. М. Азадовский частично оспарива-

ет.⁷ Другой публикуемый архивный документ — письмо Фёрстер-Ницше, которое она направила М. Горькому с приглашением посетить ее виллу и на которое Горький ответил вежливым отказом, — являет собой важный документ, вносящий дополнительный нюанс в издавна дебатруемый вопрос о «ницшеанстве» Горького.

Если среди представителей русского Серебряного века и есть тот, чей бытийный и творческий путь в наибольшей степени демонстрирует власть германского гения над русским умом, то это — Андрей Белый. Шопенгауэр, Кант и неокантианцы, Рикерт, Коген, Натан, Кассирер, Ницше, которого он называл своим отдохновением, Гете и Бетховен. Мюнхен, куда Белый отправляется после пережитой с Л. Д. Блок драмы, кафе «Симплициссимус», место сбора германской художественной богемы, о котором он, как и о кафе «Леопольд», еще напишет в книге «Между двух революций». Ироническая игра и эксперименты с немецкими именами и персонажами в романах «Петербург» (барон Оммау-Оммергау) и «Серебряный голубь», где появится Шмидт, чье пристрастие к тайному знанию станет очевидной автобиографической проекцией самого Белого. Наконец, Рудольф Штейнер с его призывом к антропософскому тайному знанию, за которым (одновременно за Штейнером и за знанием) Белый следует в своих странствиях по Германии и Швейцарии: из Базеля в Мюнхен, Нюрнберг, Берлин, Кельн, и снова в Берлин, а затем и в Дорнах, где знакомится с поэтом Моргенштерном, избирательное сродство с которым пронзительно ощущает, — все это этапы непростого, во многом противоречивого, но крайне увлекательного пути, который К. М. Азадовский совместно с А. В. Лавровым прослеживает в главе «„Страна гениев“ — Германия глазами Андрея Белого».

И тем неожиданнее на этом фоне (хотя абсолютно вписывающееся в характерное для русского сознания радостное постижение Германии — дабы впоследствии от нее отвернуться) звучит разрыв Белого с немецким духом и немецким гением: когда Берлин между двумя мировыми войнами откроется ему как символ современной, чуждой культуре цивилизации, превращающей человеческую жизнь «в кажущееся, механическое существование, отчужденное от духовных основ» (S. 182), о чем он напишет по возвращении из Берлина в книге «Одна из обителей царства теней» (1924) в период одного из тяжелейших своих духовных кризисов.

И все же остается открытым вопрос: не были ли критические выпады Белого 1920-х годов против Германии определенной уступкой советской идеологии, заставившей его увидеть в художественном авангарде отражение уми-

⁵ К. М. Азадовский ссылается на работу М. Ю. Кореневой «Д. С. Мережковский и немецкая культура: Ницше и Гете. Притяжение и отталкивание» (На рубеже XIX и XX веков: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1991. С. 76). Здесь можно было бы добавить и недавние работы В. В. Полонского. См., в частности: Полонский В. В. Эпистолярный в системе средств формирования литературной репутации русского писателя в Европе: Д. С. Мережковский и граф Морис Прозор // Текстологический временник: вопросы текстологии и источниковедения. М., 2018. Кн. 3. Письма и дневники в русском литературном наследии XX века / Отв. ред. Н. В. Корниенко. С. 689–700.

⁶ См.: Суkenников М. Ницше, Тургенев и Виардо (Неопубликованный эпизод) // Раннее утро. 1910. 12 мая. № 107. С. 2.

⁷ Подробнее см.: Азадовский К. М. Из словаря «Русские писатели. 1800–1917» (М. А. Суkenников. С. Н. Шиль) // Литературный факт. 2018. № 7. С. 358–384.

рающей культуры буржуазной страны и апофеоз варварства. Ведь параллельно звучала в сознании и ностальгическая нота, когда он задумывал свой так и не написанный роман «Германия».⁸

Тема избирательного родства становится также содержанием главы «Две башни — два мифа (Стефан Георге и Вячеслав Иванов)», которая повествует об истории русского и немецкого поэтов, никогда не встречавшихся и не соприкасавшихся друг с другом, но чье духовное родство уже для современников представляло как несомненное. Впрочем, в эту устойчивую мифологию спонтанной духовной связи К. М. Азадовский вносит и свой корректив, рассказывая о молодом немецком поэте Гансе Гюнтере, который, как выясняется, и стал своеобразным пропагандистом Георге в России, а в Иванову первым усмотрел «русского Георге» (это о Гюнтере А. М. Ремизов распустил в свое время слух, будто он и есть сам Стефан Георге).

Другой корректив вносит автор и в саму тему духовного родства. «Два мастера, два вождя символистских школ, Иванов и Георге — фигуры соизмеримые. Но говорить о сходстве между ними надлежит тем не менее с осторожностью. Точно так же необходим и ряд оговорок при сопоставлении обеих „башен“ — германской и русской. Георгианцы представляли собой подобие „ордена“, их встречи носили закрытый, „тайный“, воистину келейный характер (к тому же Георге не допускал на свои собрания женщин), тогда как доступ на Башню Иванова — при всей ее элитарности — никак не ограничивался <...> Подобно „символисту и декаденту Бодлеру“, эстет Георге воплощал для Иванова декадентское начало („интимное искусство утонченных“), чуждое „пафоса мистического устремления“ и далекое от той „истинной реальности“, к которой он призывал в своих статьях 1900-х гг.» (S. 211).

Фигуре еще одного посредника, хотя и потерявшегося отчасти в тени Ганса Гюнтера, посвящена глава «Рейнгольд фон Вальтер между Блоком и Рильке». Фигура этого уроженца Петербурга, покинувшего Россию в 1918 году, примечательна не только тем, что именно он положил начало известности Блока в Германии и, познакомив с его стихами Рильке, утвердил последнего в ощущении своей «созвучности» как России (ее он испытал уже во время своей поездки в Россию), так и русскому поэту-современнику. Для историка культуры Вальтер представляет интерес еще и как поэтизметворец, построивший свои отношения с Рильке «под знаком Блока». Опубликованное в данной главе письмо к Рильке с рассказом о «Высочайшей Возлюбленной», ради белого брака с которой Вальтер отправился из Германии в далекий Томск, стало, как показал К. М. Азадовский, словно преломлением тем

и мотивов в особенности ранней поэзии Блока и «способствовало в конечном итоге „пересечению“ двух великих поэтов в едином поле европейской литературы» (S. 236).

Элемент квазидетективного расследования присутствует в статье, написанной совместно с Г. Г. Суперфином, «Русский в Германии: одиссея „профессора“ Матанкина» (история русского эмигранта, укрывшегося под псевдонимом «Александр Карено» и описавшего сцены берлинской жизни 1920-х годов, которые ему, как шоферу такси, довелось наблюдать), а также в главе под затейливым названием «Истории и тайны Старого Энтузиаста. Аким Вольтинский — Лу Андреас-Саломе — Райнер Мария Рильке», где вновь звучит тема Рильке, опосредованно — Ницше и великой влюбленной обоих Лу Андреас-Саломе, одной из самых таинственных и загадочных женщин рубежа веков. Однако основную «интригу» составляют даже не они, но еще один русский посредник между культурами — Аким Вольтинский, чья книга «Леонардо да Винчи» (1900), родившаяся отчасти из духа соперничества с другом-недругом Д. С. Мережковским, предстает в интерпретации К. М. Азадовского как своего рода «роман с ключом». Ибо в нем — при внимательном чтении — обнаруживается зашифрованная история запутанных отношений между Вольтинским, Лу Андреас-Саломе, тогда еще юным и очень влюбленным в Лу поэтом Рильке и незримо нависающей над ними всеми тенью Ницше — во время их совместного пребывания в Вольфратсхаузене (Бавария). Остается только пожелать, чтобы глава эта была переведена наконец на русский язык и стала доступна также и читателю-не германофону.

Последние статьи — «„Взгляд в Хаос“: Герман Гессе о России и Достоевском», «Стефан Цвейг в СССР», «Генрих Бёлль и советские „диссиденты“ — возвращают нас отчасти к тем темам, которые были заданы уже в первых главах данной книги: к тому болезненному, крайне противоречивому опыту XX века и русско-германских отношений, которые и позволили немецкому критику Генриху Штаммлеру сказать: «Немцы и русские друг друга люто ненавидели, но и любили страстно. Этот клубок эмоций следует распутать. Но никто его еще не распутал...» Слова, которые К. М. Азадовский поставил в качестве эпиграфа к своему русскому сборнику трудов.

Гессе, Цвейг и Бёлль — три центральных немецких автора XX столетия и три вехи познания ими России.

Гессе, предки которого по отцовской линии были выходцами из России, пытаясь разобраться в своей рецензии на книгу Карла Нётцеля «Сегодняшняя Россия» (1915) в том, что отличает русских людей от западноевропейцев, пишет о «мощном приливе душевности, древнехристианской любви и по-детски незамутненной потребности искупления», перед которыми «европейская литература неожиданно оказалась мелкой и узкой» (S. 273).

⁸ См. об этом также: Лавров А. В., *Гречишкин С. С.* Символисты вблизи. Очерки и публикации. СПб., 2004. С. 376–382.

Размышляя о великом духовном кризисе, охватившем западный мир, с точки зрения «хаоса», он истолковывает распространенную на Западе легенду о «русской душе», способной к примирению любых противоречий. Но видит в этом явление не только специфически русское, но и универсальное.

«Бесчеловечная политика большевиков, — читаем мы далее, — ведущая к гибели людей и столь ценимой Гессе „культуры“, коллективизация, концентрационные лагеря и показательные процессы 1930-х гг. — все это не вызывало у Гессе (во всяком случае, судя по сохранившимся свидетельствам) возмущения или протеста» (S. 286). И только в одном из писем к Томасу Манну (от начала декабря 1931 года) «содержатся не лишние сожаления слова»: «Германия упустила шанс совершить собственную революцию и найти собственный путь <...> Будущее Германии — это большевизация, что само по себе не так уж для меня отвратительно» (S. 286).

А в остатке мы имеем окончательно не сформулированные, но подсказанные всем содержанием рецензируемой книги вопросы: *Как? и Почему?*

Далее следует Стефан Цвейг, в течение всей своей жизни духовно и творчески связанный с Россией и русской литературой, автор статей и эссе о Достоевском, Толстом, М. Горьком, первый западный писатель, чье много томное собрание сочинений выходило с 1926 по 1932 год в издательстве «Время». Побывав в Москве осенью 1928 года на торжествах, посвященных столетнему юбилею Толстого, в газетных очерках, изданных затем под названием «Поездка в Россию», он напишет, как, бродя по эрмитажным залам, почувствовал «напряженность, искони существовавшую в России» между «преступным, кощунственным мотовством царей и безмерной, ужасной нищетой российских голодных деревень» (S. 303), и пришел к выводу, что «органичность русской революции нигде невозможно понять лучше, чем в сокровищнице Эрмитажа, в роскошных покоях Зимнего дворца». Задумав большую поездку на Кавказ, он сообщает в 1931 году Луначарскому о замысле книги, которая будет «резко отличаться от стряпни низкопробных журналистов, полной лжи и ненависти, — книги документальной...» (S. 303).

И здесь К. М. Азадовский уже непосредственно задается вопросом: в какой степени Стефан Цвейг был захвачен тем масштабным «социальным экспериментом», который был предпринят в СССР? Действительно ли он верил в «победы» и «успехи», о которых громко вещала советская пропаганда?

Возможный ответ здесь расплывчат. Достижения во имя народа, считает Цвейг, невероятны. Но тут же задумывается и о «проигравших, а это (наряду с истребленным дворянским классом и императорским домом) как раз те люди, которые нам ближе всего: свободные, независимые, живущие духовной жизнью». Но при этом то, что смогли пережить эти

люди, объясняется «исключительно российской способностью претерпевать страдания» (S. 304–305). А далее следует фраза, в комментарии, собственно, и не нуждающаяся, но страшная своим метафизическим цинизмом: «Конечно, террор нельзя оправдать, но, может быть, он отвечает исторической структуре России, поскольку (о чем я уже высказывался) русские люди не так страдают от ограничения их гражданских прав, как мы. Да и пропорции, разумеется, совсем иные, когда двести или пятьсот тысяч интеллигентов терпят лишения с тем, чтобы это пошло на пользу ста сорока миллионам, которые все-таки обрели в ходе русской революции свое человеческое достоинство. В общем итоге: мы невольно ошибаемся, пытаясь приложить к России наши критерии свободы и требуя слишком многого сразу. <...> Вероятно, русские — единственный сегодня народ, способный ради идеи терпеливо взять на себя любые жертвы» (S. 305).

«И только союз Сталина и Гитлера, заключенный в августе 1939 г., — резюмирует К. М. Азадовский, — и дальнейшие военно-политические события смогли поколебать веру Цвейга в историческую миссию советской страны. Возможно, именно здесь следует искать корни внутренней трагедии Цвейга. Честный, но политически наивный писатель, не принимавший „буржуазной“ современности и пытавшийся найти выход то в исчезающем культурном пространстве довоенной Европы («Вчерашний мир»), то в мире „светлого будущего“, воплощением которого был для него в 1920–1930-е гг. Советский Союз, Цвейг мучительно переживал крах своих „интеллигентских“ иллюзий, что, должно быть, и подтолкнуло его в феврале 1942 г. к последнему неоправданному шагу».

И еще один «казус» русско-немецких отношений: Генрих Бёлль, считавшийся во второй половине 1950-х годов «на волне хрущевской оттепели» в СССР одним из самых известных и читаемых западногерманских авторов, писавший «о совести и свободе, о милосердии, сострадании и терпимости» (S. 351), а затем, в 1960–1970-е годы, ставший другом тех, кого поначалу называли «инакомыслящими», а затем и диссидентами (четыре Копелевых, Солженицына, Эткинда и др.), и сам оказавшийся в центре советского инакомыслия этого времени. Но именно здесь К. М. Азадовский делает оговорку: «...Бёлль не был безоговорочным сторонником советских „диссидентов“. Ему казалось, что многие из них пристрастны в своих оценках: заявляют, что Запад недостаточно противостоит той угрозе, какую представляет собой Советский Союз, принимают западный плюрализм за мягкотелость или „беззаботность“, слишком непримиримы к „социалистам“ и „левым“ (которым сам Бёлль симпатизировал). Немецкий писатель полемизировал с Владимиром Буковским и Наумом Коржавиным, критиковал позицию Владимира Максимова и его журнал „Континент“» (S. 359).

Впрочем, именно Бёлль, по возвращении в ФРГ из СССР, опубликовал подписанное им совместно с А. Д. Сахаровым письмо руководителям Советского Союза с просьбой освободить всех политзаключенных.

Скорее всего, не случайно, что труд К. М. Азадовского «Russisch-deutsche Verflechtungen» завершает именно глава о Генрихе Бёлле. И причины тому далеко не хронологического свойства. Книга, начинающаяся со страшной истории той беды, которую германский фашизм принес русскому (конечно же, не только русскому) народу, завершается историей русских связей немецкого писателя, бывшего самым воплощением идей сострадания и милосердия. А его позиция диссидента, каким он чувствовал себя в Германии,⁹ может быть прочитана как естественно рифмующаяся с историей тех, кто имел подобную же репутацию в СССР и о ком написано в первых главах, — неважно, как их называли (не-патриотами, инакомыслящими, приспешниками и т. д.). И тогда получается, что духовная связь и духовное родство между двумя исконно противостоявшими и бесконечно тяготевшими друг к другу народами существует. И существует она поверх истории, геополитики, идеологии, национального антагонизма и войн. «Диссидент по духу, каким он и был в Германии 1960–1970-х гг. — так завершается эта книга — Генрих Бёлль, писатель с „живой, чуткой совестью“, чувствовал свое внутреннее родство с этим кругом и воспринимал себя

⁹ К. М. Азадовский приводит письмо, адресованное ленинградскому германисту В. Г. Адмони, в котором Бёлль пишет: «...у нас здесь теперь происходит такое, что не просто не весело, а прямо-таки опасно: в особенности Берлин и все, что с ним связано, — сплошная демагогия. Немцы не желают понять, что они проиграли захватническую войну и совершали убийство других народов, у них начисто отсутствуют понимание и чувство (никогда не было ни того, ни другого) неумолимости истории...» (S. 356–357).

его участником, т. е. ощущал себя — разумеется, до известной степени, — советским диссидентом и, значит, русским интеллигентом» (S. 365).

Заканчивая эту рецензию, не могу не упомянуть и прекрасную вводную статью одного из издателей данного труда, директора Института славистики Венского университета Ф. Б. Полякова. Называется она символично: «Возвращение к родным берегам. О жизненном пути, достоинстве и этических принципах Константина Азадовского». В ней очень много сказано точного: и о тех семейных культурных традициях, носителем и хранителем которых является Константин Маркович. И о том, каким роковым образом отозвались они в его собственной судьбе. И о том, сколько — вопреки всему («Allen Widrigkeiten zum Trotz») — удалось ему сделать и в германистике, и в области компаративных исследований, и в области изучения русской и немецкой поэзии XX века. И о том, какими престижными премиями он был награжден. Но, как мне показалось, может быть, самым интересным и по-своему неожиданным в этом предисловии стало объяснение того, почему глобальным концептуальным построением К. М. Азадовский всегда предпочитал работу с документами и источниками, изучение конкретных человеческих и творческих судеб, которое превалирует у него над «слишком широкими рамками современного исторического обобщения, так часто беспощадного к деталям» (S. XIV). В качестве поэтического объяснения этому поистине уникальному дару и свойству К. М. Азадовского автор предисловия ссылается на стихотворение А. А. Ахматовой, написанное ею в 1964 году ночью в Риме, где, как нигде в другом месте, хорошо думается о сущности истории и месте в ней отдельного человека:

И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это — только рана
И муки облачко над ней.